

В. М. ЗЕРНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ ВРАЧА

Владимир Михайлович Зёрнов — врач, живет в Париже. Воспоминания написаны им для «Литературного наследства».

Я лечил Бунина в продолжении пяти лет, с осени 1948 г. до дня его смерти 8 ноября 1953 г. До того, как мне пришлось встретиться с Иваном Алексеевичем как пациентом, я видел его всего несколько раз. Однажды, в 1933 г., на сцене большого парижского театра «Елисейских полей» чествовали Бунина, лауреата Нобелевской премии по литературе. Он только что вернулся из Стокгольма, перед ним, на склоне лет, открылся новый путь, он получил мировое признание. Для безвестного эмигранта, оторванного от Родины, после долгого периода нужды и лишений, открылась дорога, ведущая в блистающую область всемирной известности.

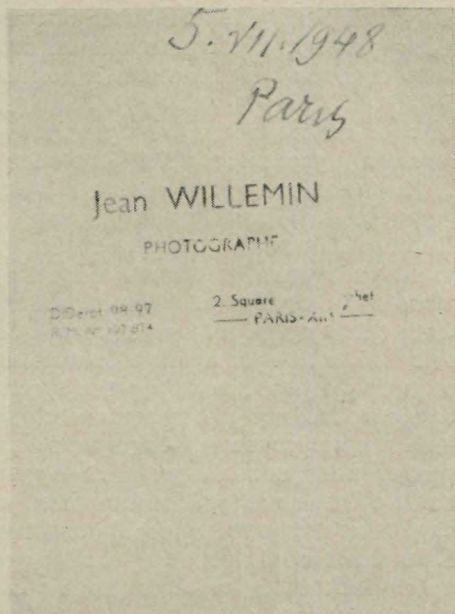
Помню его, элегантного, в новом фраке, с белым цветком в петлице, помню его бледное, суховатое и торжественно-сдержанное лицо. Мы все присутствующие гордимся Буниным, и, вероятно, поэтому он кажется нам еще интереснее, еще замечательнее. Речи, приветствия, цветы и аплодисменты.

Помню Бунина-лауреата на обеде у С. В. Рахманинова. Сергей Васильевич слушает внимательно и словно немного снисходительно, как Бунин рассказывает о происхождении своего древнего рода, о своей поездке в Стокгольм, и кажется мне, что Бунину это нужно, нужен и древний род, и торжество его признания, и слава, и хочется, чтобы эта слава была мировой, всемирной, с лаврами, цветами и рукоплесканиями.

А Рахманинов слушает его, как царь, владеющий безграничным царством, для которого вся эта слава и блеск только «суета и томление духа». Но слушает его доброжелательно, с живым интересом, иногда вставляя свои, немного шутливые, замечания.

На таких же парижских обедах, но немного по-другому, слушает он своего старого друга Ф. И. Шаляпина. Слава — служанка Шаляпина, она ему служит и окружает его. Он царствует всюду, где он появляется, его нельзя не слушать и жаль пропустить единый его жест, единый взгляд, единое слово. Если он великолепен в опере, на сцене, то так же великолепен и в жизни. Кажется, будто сидеть с ним за обеденным столом еще интереснее, еще увлекательнее, чем видеть его в театре. Каждое слово, каждый жест Шаляпина не могут не производить впечатления, он царствует в обществе, и Рахманинов слушает его и смотрит на него с нескрываемым восхищением. А Бунин как будто стремится занять такое же положение в обществе, но, вероятно, долгий период нужды и лишения последних лет оставил свой след и лишил его уверенности и власти, которые есть у Шаляпина. Но вот Бунин пришел к вершинам благополучия и славы, теперь перед ним открылся новый, блестящий путь...

Помню также Ивана Алексеевича несколько лет спустя, сторбленного, закутанного в теплый шарф, с поднятым воротником пальто, страдающего одышкой. Бунин возвращается со своего последнего публичного выступления, в ненастный октябрьский вечер 1948 г., из маленького концерт-



БУНИН

Фотография. Париж, 1948. На обороте помета писателя: «5.VII. 1948. Paris».
Парижский архив Бунина

ного зала, где он выступал перед небольшим кружком русского эмигрантского Парижа.

Бунин уже не искал рукоплесканий, просто ему приходилось трудно материально. Деньги, полученные от Нобелевской премии, были давно прожиты, авторские от изданий его произведений не могли дать возможности существовать, и его друзья устроили этот вечер, чтобы собрать для него необходимые деньги.

На этом вечере, как и всегда, Бунин был резок в своих отзывах. Быть может то, что его надежды на широкий успех после получения премии не оправдались, придало Бунину какую-то горечь, и отзывы его были не только резки, но и язвительны. Он подмечал слабые места у других писателей, точно хотел сказать: «а вот я мог бы написать все это лучше».

Через несколько дней, 10-го ноября, в одной русской парижской газете появился маленький фельетон, с подзаголовком «Ему, Великому». Он начинался так: «Великий сидел и пил чай. Да, самый обыкновенный чай, который пьют и все смертные. Но если бы это был Зевс и вкушал нектар, его лицо не могло бы быть величественнее, на нем был халат — пузо-то его все в жемчуге, сзади-то у него раззолочено, на ногах у него дюжина носков, что касается количества другого белья — точно не установлено. Далее Великий говорил, что „без меня не было бы ни Пушкина, ни Льва Толстого, они мои прямые предки; неважные писатели, но упомянуть все-таки можно...“».

В этом пасквильном фельетоне злобно и непристойно высмеивался Бунин, и автор, скрывшийся за подписью «Удостоившийся присутствия», так закончил свою статью: «Публика, расходясь в недоумении с литературного вечера И. Бунина, говорила: „что же это такое? Один всего в литературе порядочный писатель был, да и тот круглая бездарность, но зато изрыл весь задний двор литературы“».

Глубоко возмущенный содержанием и тоном этой статьи, я написал Бунину письмо, в котором писал, что русские читатели ценят его талант и возмущаются содержанием и тоном этой недопустимой анонимной статьи.

В этот же период я лечил одного престарелого журналиста, который работал в русской газете, напечатавшей этот пасквиль. Вызванный к нему, после моего медицинского совета, я обратился к моему пациенту с возмущенной речью, негодуя, как он, журналист, сотрудничающий в этой газете, мог допустить, чтобы там была напечатана пасквильная, анонимная статья, высмеивающая и оскорбляющая большого русского писателя, да вдобавок старого, больного, доживающего свои последние дни, да сверх того, находящегося в большой бедности. А если уж бить — то открыто, а не прятаться за анонимом. Мой пациент терпеливо выслушал мою горячую речь, не проронив ни слова, и сразу перешел к расспросам, как ему проводить прописанное мною лечение. Неужели это он «Удостоившийся присутствия», — подумал я, но сразу отогнал эту мысль, так как был искренно расположен к моему престарелому пациенту, а эта статья, как мне тогда казалось, могла быть написана только каким-нибудь мальчишкой, не знающим литературы и не уважающим талантов.

При моем следующем визите к этому престарелому журналисту, мой пациент несколько торжественно обратился ко мне, прежде чем я начал его осматривать.

«Владимир Михайлович, знаете ли вы, что такое пасквиль?» И тут я сразу понял, что это он автор злосчастной статьи. Мой пациент старался объяснить мне, что пасквиль — это литературная форма, в которой высмеиваются недостатки и пороки для их исправления, и что такое сатирическое произведение имеет воспитательное значение и служит для пользы того, по отношению к кому оно написано. Наконец, сделав краткую паузу, он заявил: «Я — автор этого гротеска».

Конечно, мне было неприятно, что я, вероятно, обидел старика, но я не хотел отказаться от своего мнения и подтвердил свое убеждение, что перевоспитывать Бунина поздно и к писателю, имеющему такие заслуги, как Бунин, надо относиться с большим уважением и вниманием, особенно теперь, когда он болен, стар и слаб.

По-видимому, результатом этого разговора было то, что еще через неделю, 8-го декабря, в той газете, где сотрудничал мой пациент, появилась статья, в которой он открыл свой аноним и старался объяснить, почему он написал «маленький фельетон», называя его уже не пасквилом, а памфлетом и обвиняя Бунина уже не в том, что он «изрыл весь задний двор литературы», и не в самопревозношении, а в том, что он изменил политическим убеждениям. Но все это дело прошлое, умер и старый журналист, умер и Бунин, но творчество Бунина осталось, и живет то, что принес он в наш мир.

Через несколько дней я получил от Ивана Алексеевича ответное письмо, полное горечи, в котором он писал: «Горячо благодарю вас за ту сердечность, которой полно ваше письмо и которой вы меня очень тронули. Глупая и гадкая статейка меня возмутила бессознательной ложью...».

Вскоре после этого он обратился ко мне как к врачу за медицинской помощью. Он страдал эмфиземой и склерозом легких и прогрессирующим ослаблением сердечной деятельности. Постепенно здоровье его слабело. Первое время я заставал его еще передвигающимся по комнатам его скромной квартиры, но довольно скоро, все чаще и чаще я видел его лежащим в кровати. «Вот вы еще молодой, — говорил Иван Алексеевич, — вы полны жизни, вы не можете понять, что значит быть больным и старым. Раньше для меня все было нипочем, а теперь добраться от кровати до стола для меня настоящее событие». Но несмотря на свою болезнь, на

МОГИЛА БУНИНА НА РУССКОМ
КЛАДБИЩЕ СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ
ДЕ БУА, БЛИЗ ПАРИЖА

Фотография Н. Л. Крашенинниковой,
1971

Собрание Н. Л. Крашенинниковой,
Москва



слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений, которые часто таили в себе некую желчность и даже озлобленность. Но наряду с этим у него было много сердечности и горячего отношения к окружающим. Скажу, что он был озлобленным, но не злым.

Помню, что раз я пришел к Буниным с моим сыном, которому было тогда 4 года. Иван Алексеевич, худой, изможденный, одетый в белую пижаму, сидел в своей кровати. Мой сын, увидев его, сказал: «это дед Мороз, но больной дед Мороз», — хотя Иван Алексеевич не носил бороды и усов и, как будто, не мог иметь ничего общего с тем внешним обликом, каким изображают обычно деда Мороза, но в этом детском определении было что-то очень меткое. Для ребенка дед Мороз представляется, прежде всего, кем-то безусловно добрым, торжественным и красивым, но вместе с тем и необычным. В лице Ивана Алексеевича, в последние годы его жизни, было все это — и некая торжественность, и доброта, и строгость, и, прежде всего, лицо красивое, необычное, его нельзя было не заметить, нельзя не обратить внимания.

Думаю, что и больной, и умирающий, Иван Алексеевич страстно любил жизнь, ему хотелось жить, хотелось выздороветь, поправиться. Хотя болезнь его была хронической и длительной, но я чувствовал, что он ждал каждого моего посещения, ждал, что доктор принесет ему что-то, что поможет ему жить, вернуться к той жизни, которую он так любил. В этом ожидании было нетерпение и, почти каждый раз, когда я приходил к нему, он брал свою палку, всегда лежавшую около его кровати, стучал ею в стену, разделявшую его комнату и комнату его жены, чтобы этим позвать ее. Если же она не появлялась сразу, то он звал ее: «Вера, Вера, иди скорей, слушай, что будет говорить доктор». Но как только торопливо прибегала уже плохо слышавшая и плохо видевшая Вера Николаевна, гото-

вая исполнить все что угодно для своего Яна, он нетерпеливо говорил: «Ну что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и приходи потом».

Был ли Бунин трудным больным? Болезнь его была мучительной, с многочисленными осложнениями, переносил он все терпеливо, без жалоб. В 1950 г. он подвергся хирургической операции и вынес ее стойко и мужественно, по-видимому, страстно желая жить, но отдавая себе отчет, что жизнь приходит к концу и надежд на улучшение здоровья нет. Говорил об этом просто, как о неизбежном, ясно сознавая свое положение и не создавая себе иллюзий.

И свое материальное положение, и состояние своего здоровья он, если и не принимал примиренно, то переносил мужественно, без излишних жалоб и малодушия. Незадолго до своей смерти он говорил мне, что со смертью нельзя примириться: «Разве можно примириться, что мое тело скоро будут есть черви, вот этого я принять не могу». Принять не мог, но говорил об этом спокойно, может быть, с некоторым раздражением, как говорил о плохо написанном литературном произведении.

Часто, часто наши разговоры возвращались к Родине. Иван Алексеевич горячо интересовался всем, что происходило в России, и несомненно его тянуло туда...

Вечером 8 ноября 1953 г. меня вызвали по телефону к Бунину. Он задыхался, сердце слабело, приближался конец. Я сделал необходимые впрыскивания, успокоил больного и Веру Николаевну, обещав приехать, если нужно, попозже. Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал, то Бунина уже не было в живых.

По его желанию, его верная Вера Николаевна закрыла его лицо платком, он не хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти. Для меня она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.

Я помог привести в порядок тело и перенести его в другую комнату. Шею покойного Вера Николаевна повязала шарфиком. «Я знаю, — сказала она, — ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила...», — и она назвала женское имя...

Ноябрь 1967 г.

Париж